

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОЗЕ И КРУГЕ ЧААДАЕВА/ПУШКИНА/КЮСТИНА/МИЦКЕВИЧА

Бернар Маршадье

Участник англоязычной образовательной программы в Сорбонне, программы на русском языке в INALCO. Переводчик в ООН и ЮНЕСКО. Переводчик на французский язык переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, сочинений С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, Вл. С. Соловьева. Председатель Общества Владимира Соловьева в Париже.
E-mail: b2marchadier@gmail.com

В статье рассматриваются, во-первых, лингвистические аспекты писем П. Я. Чаадаева, во-вторых — политические и философские мотивы его сочинений. Чаадаева можно считать первым философом в России, но при этом свои сочинения он писал на французском языке. Этот факт весьма важен, и в статье рассматриваются условия, при которых данная ситуация оказалась возможной. Автор пришел к выводу, что «Философические письма» Чаадаева написаны по-французски, потому что это философские сочинения, потому что это письма и потому что они адресованы женщине. Стиль Чаадаева соответствует французским литературным образцам тех дней.

Ключевые слова: П. Я. Чаадаев, философия, политика, политология, А. де Кюстин, «Философические письма», литературный стиль.

DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-4-104-119

Чаадаев, без сомнений, настоящий русский мыслитель. Руководствуясь разными оценками, его можно считать первым философом в России. Он не работал постоянно и много, но при этом писал на французском языке. Этот факт весьма важен, и я хотел бы подробно рассмотреть условия, при которых данная ситуация оказалась возможной.

Как известно, в X в. Россия была, по расхожей формуле, приписываемой писателю Н. С. Лескову, «крещена, но не просвещена». Монахи Кирилл и Мефодий и их последователи перевели литургические тексты, Псалтырь, Евангелие и несколько книг Отцов Церкви с греческого на староболгарский язык (далее по тексту «церковнославянский»), но люди говорили на языке, развивавшемся на народно-разговорной основе. Точнее, использовалось два языка: южносла-

вянский (высокий стиль) и восточнославянский (низкий)¹. Ситуация, конечно, менялась с течением времени, так как церковнославянский язык приобретал все больше восточных славянских черт, но в целом страна веками оставалась в состоянии «диглоссии», если использовать термин, введенный американским лингвистом Чарльзом Фергюссоном для описания ситуации, при которой в дополнение к основным диалектам языка, могущим включать в себя региональные стандарты, существует отличающаяся от них высокоразвитая, многообразная языковая форма письменной литературы (Успенский, 1983: 82–83).

Диглоссия — частое явление в истории цивилизаций, но специфическая проблема России заключалась не только в том, что «высокий стиль» не понимало большинство населения: будучи языком литургии и молитв, он не открывал путь к более развитой культуре, а вплоть до XVII в. переводы с греческого или латинского были весьма ограничены.

В Византийском мире и в Европе ситуация значительно отличалась, так как образованные люди могли иметь прямой доступ к миру высшего знания (образования) и классической литературы через языки (греческий и латинский), которые были актуальны в достаточной степени, чтобы быть значимыми инструментами мысли и интеллектуального взаимодействия. Но подобный процесс в России не шел: она, как отметил Чаадаев, изначально не попала в контекст идей, завещанных Богом для руководства людьми: «<...> всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» (Чаадаев, 1991: 323).

Необходимо отметить, что в то же самое время в Западной Европе на полпути между высоким и низким языковыми модусами вырабатывались административный (канцелярский) и коммерческий. Но из-за отсутствия надлежащих коннотаций эта середина дороги не считалась достойным проводником образованности. Типично, что во второй половине XVI в. князь Курбский, бежавший за границу, чтобы избежать гнева Ивана Грозного, и основавший в Литве

¹ Автор касается проблемы, не до конца проясненной современной наукой. Отсылаем читателя к специализированному источнику. «Церковнославянский язык стал развиваться на территории Киевской Руси после принятия христианства, когда древние книжники начали переписывать богослужебную литературу, пришедшую из Византии. Он представлял собой восточнославянскую редакцию языка старославянского, т.е. в определенной степени «обрусевший» вариант последнего. Долгое время термины старославянский и церковнославянский отождествлялись. Только с начала XX в., когда вышли в свет «Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка» Ф. Ф. Фортунатова, согласно идее ученого, их начинают разграничивать: «Старославянским, или церковнославянским, языком называется тот древний южнославянский язык, на который в IX в. было переведено Священное Писание... С течением времени старославянский язык обратился у нас в тот искусственный, искаженный язык, который употребляется теперь в богослужении и называется церковнославянским языком. Для того, чтобы не смешивать с этим ломаным языком тот древний церковнославянский язык, который мы открываем при изучении древнейших его памятников, я называю последний языком старославянским» <...>. Таким образом, язык первых славянских переводов получал название старославянского, а его редакций — церковнославянского. Церковнославянский выполнял функции языка письменного, преимущественно религиозной литературы. Кроме того, на восточнославянской территории бытовал и свой язык, развивавшийся на народно-разговорной основе» (Гончаренко, 2016: 48). — *Прим. ред.*

скромный, но значительный центр обучения и печати, считал невозможным публиковать работы Цицерона на «простом» языке, который любой понял бы, и решил перевести их на старославянский¹.

В начале XVIII в. император Петр Великий ввел упрощенный «гражданский» алфавит, типологически более близкий к европейским, что облегчало как печать, так и чтение. Он также ввел в язык много иностранных слов (в основном из немецкого и латыни). Россия становилась крупной европейской державой, и факторы ее могущества носили не только политический, военный и промышленный характер: они также должны были быть языковыми и культурными. Подобно тому как Петр заставлял русских брить бороды и надевать европейскую одежду, он заставлял их говорить на европейских языках. Но если существовала русская поэзия (поэзия существует всегда, на всех диалектах и на всех этапах развития любого народа, поскольку она неотделима от человека), русская проза все еще была в *statu nascendi*, так как высокий язык общения и прозы еще не появился.

Работами Василия Тредиаковского (1705–1769), в особенности «Трактатом о красноречии» («Слово о витийстве»), отмечен очень важный момент в становлении русского литературного языка (Breuillard, 2012: 57–85). Тредиаковский некоторое время жил в Париже и внимательно следил за полемикой между иезуитами и янсенистами, которая, среди прочего, касалась и лингвистических вопросов. В своих школах иезуиты преподавали на латыни, а янсенисты — на французском. Тредиаковский перенес эту дискуссию на русскую почву, соединив старославянский и латинский языки, с одной стороны, с русским и французским — с другой. Он предложил создать синтез старославянского и русского языков, чтобы первый сделать понятным для всех и облагородить второй. Он назвал желаемый синтез «славянороссийским»; по его мнению, такой язык не предназначался бы исключительно ученым монахам или торговцам, но служил бы «приличному обществу», и дамы, эти *spiritus movens* европейской общественности, могли бы без страха говорить на нем, понимая духовные мотивы европейской общительности.

В отличие от Ломоносова (или, если брать современный пример, — Солженицына), Тредиаковский настаивал, что язык растет и благодаря контакту с иностранными языками становится более точным, не опираясь на одни только ресурсы из прошлого. Языки расширяют, разжигают и тонко настраивают друг друга. Отсюда вытекает понимание важности перевода как новаторской деятельности. Чаадаев рассмотрит этот аргумент в своем пятом письме: «Лишенные общения с другими сознаниями, мы щипали бы траву, а не размыш-

¹ Поскольку вопрос с переводом Цицерона, сделанным Курбским, в науке не прояснен, редакция приняла решение оставить этот авторский пассаж без изменений. — *Прим. ред.*

ляли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной вселенной, ничто в мире сознаний не может быть постигнуто как совершенно обособленное, существующее само собой» (Чаадаев, 1991а: 385–386). Согласно своей природе, человек общается не только с соседями, но и со всеми, с кем вступает в контакт, в том числе с представителями других стран и культур. Мы должны расти и процветать в сфере разговоров. И перевод — одна из разновидностей разговора.

Поэтому неудивительно, что первым из когда-либо опубликованных на русском языке был переведенный самим Тредиаковским с французского роман аббата Поля Таллемана (Тальмана) «Путешествие по Аль-Амур» («Voyage de l'île d'amour», 1663), аллегорическая сказка XVII в. После перевода Тредиаковского важной вехой в ранней истории русской литературы стала публикация сентименталистских «Писем русского путешественника» Николая Карамзина (1791–1792), а затем его же повести «Бедная Лиза» (1792). Обе книги были написаны с опорой на европейские литературные модели. И то, и другое остается приятным чтением по сей день: так родилась русская литературная проза.

Такова, весьма схематично, генеалогия русской художественной прозы, которая могла появиться только потому, что была основана на примерах, взятых из европейских литератур и, в частности, на французских литературных моделях. Интересно отметить, что в галлицизме Пушкин видел не искажение родного языка, а способ его обогащения и инструмент мышления. В письме своему другу Петру Вяземскому (13 июля 1825 г.) он написал: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы, то есть языка мыслей)» (Пушкин, 1962а: 166).

Владимир Набоков однажды заметил, что если Пушкин писал по-русски, а не по-французски, то потому, что был прежде всего поэтом. Русский был его настоящим языком, даже когда в прозе он следовал не столько за Карамзиным (который принадлежал к старшему поколению), сколько за французскими авторами, такими как Вольтер или мадам де Сталь. Вот почему Чаадаев рекомендовал ему писать не по-французски, а по-русски: «<...> вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания» (письмо от 17 июня 1831 г.; Чаадаев, 1991б: 68). Но Пушкин продолжал отвечать ему по-французски: «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся» (письмо от 6 июля 1831 г.; Пушкин, 1962б: 47).

Дело Чаадаева сильно отличалось от дела Пушкина. Он был мыслитель, он писал трактаты и письма и в те дни, когда русская проза только появилась, предпочитал выражать свои мысли по-французски. Еще в течение нескольких десятилетий русский язык будет казаться слишком грубым, слишком неполным, слишком неевропейским, чтобы точно выражать суть проблем и передавать сокровенные тайны сердца. Французский язык остался языком частного письма почти до конца XIX в., по крайней мере, до 1870-х гг. Не только Пушкин и Чаадаев, но и Алексей Толстой, Александр Герцен, Иван Тургенев, Афанасий Фет, Федор Тютчев оставили богатую переписку по-французски.

Французский язык был языком хорошо образованных женщин. В романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкин сделал акцент на том, что письмо Татьяны к Евгению изначально было написано по-французски, и что русская версия в романе — это «неполный, слабый» перевод:

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевести.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык. (3, XXVI)

Итак, отмечу: «Философические письма» Чаадаева написаны на французском языке, потому что это философские сочинения, потому что это письма и потому что они адресованы женщине.

Стиль Чаадаева соответствует французским литературным образцам тех дней. Текст ясен, ритмичен и энергичен. Это прекрасная французская проза, а не страницы, написанные иностранцем, хорошо знающим французский, это язык таких мастеров, как Шатобриан, Токвиль или де Местр, которых Чаадаев знал лично и читал. Можно сказать, что Чаадаев — французский классический писатель. В отличие от Пушкина, он прозаик, и именно поэтому его естественным языком является не русский, а французский. Он также хочет обратиться

ко всей Европе, а в те дни французский язык являлся языком элиты на всем континенте.

Чаадаев на шесть лет старше Пушкина. Они встретились впервые, когда поэту было 17 лет. Пушкин был еще старшекласником, а Чаадаев — офицером гусарского полка. Для Пушкина Чаадаев стал своего рода наставником, научившим его мыслить. В 1820 г., когда царь Александр I приговорил Пушкина к изгнанию, Чаадаев и Карамзин добились, чтобы их молодого протеже отправили не в Соловецкую тюрьму или Сибирь, а на юг, в Молдавию и Одессу.

На основании анализа некоторых фрагментов из пушкинского «Евгения Онегина» можно сделать вывод, что описание героя в романе — это портрет Чаадаева. Разве Онегин не представлен читателю как «хороший друг» автора, разве он не говорит и не пишет «по-французски совершенно», разве не доводит до совершенства искусство эпиграмм? Прежде всего об этом свидетельствует такой отрывок:

Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали фронт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

Но это слишком поспешный вывод. Уже в юности Чаадаев был живой легендой, а его имя — почти нарицательным. Таким образом, «второй Чаадаев» означает не более чем «второй Байрон» или «второй Браммелл¹». Как и Онегин, он был денди. Но (и это немаловажно), в отличие от Онегина (и молодого Пушкина), Чаадаев совсем не был дамским угодником (известно, что ни одна женщина не завоевала его сердце и не взбудоражила его чувства). Конечно, как и Онегин, Чаадаев был также ипохондрик, но это на самом деле не доказывает, что первый является портретом последнего, так как ипохондрия была модной болезнью в те дни, когда литературные герои Рене Шатобриана, Чайльд Гарольд Байрона и т.д. отличались заметной раздражительностью. В этом случае понятно, что, хотя Онегин имеет несколько общих черт с Чаадаевым, его вряд ли можно считать его «портретом».

¹ Джордж Брайан Браммелл (George Bryan Brummell; 1778–1840) — английский денди, законодатель мод. — *Прим. ред.*

Июльская революция 1830 г. в Париже, последовавшая в ноябре за польским восстанием, стала ужасным потрясением для Чаадаева, который в письме Пушкину от 18 сентября 1831 г. оплакивал то, что считал «гибелью целого мира», что обозначал как «великий переворот в вещах», добавляя: «Что до меня, у меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило мое собственное бедствие» (Чаадаев, 1991: 69, 71). Чаадаев был особенно взволнован тем, что услышал о польском восстании, «безумном предприятии», и, как ни странно, русский европеец начал использовать аргументы, которые скорее должны были стать панславитскими и славянофильскими: «<...> благополучие народов может найти свое полное выражение лишь в составе больших политических тел и что, в частности, народ польский, славянский по племени, должен разделить судьбы братского народа, который способен внести в жизнь обоих народов так много силы и благоденствия» (Чаадаев, 1991а: 515).

Как традиционалист и законник, Чаадаев не мог ни потворствовать, ни оправдывать какую-либо революцию против законного суверена. И французский Карл X, и русский Николай I были законными властителями в его глазах. Папа Григорий XVI в энциклике «*Sum Primus*» (1832) также недвусмысленно осудил Польское ноябрьское восстание.

Что еще более удивительно, по крайней мере, на первый взгляд: Пушкин, несмотря на привязанность к байроновской традиции, которой он так обязан, и в отличие от друзей-либералов (Вяземского, Александра Тургенева), не говоря уже о поэте Адаме Мицкевиче, пятью годами ранее сочувственно отнесшийся к провальному декабристскому государственному перевороту, продолжением которого было польское восстание, теперь осудил поляков в известном стихотворении «Клеветникам России»:

О чем шумите вы, народные витии?
 Зачем анафемой грозите вы России?
 Что возмутило вас? волнения Литвы?
 Оставьте: это спор славян между собою,
 Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
 Вопрос, которого не разрешите вы.
 Уже давно между собою
 Враждуют эти племена;
 Не раз клонилась под грозой
 То их, то наша сторона.
 Кто устоит в неравном споре:
 Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бесмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Чаадаев был в восторге от стихотворения Пушкина.

Пушкина обвиняли в том, что он не остался верен свободолобивым идеалам и, что еще хуже, написал это стихотворение из раболепства перед царем¹. Скорее всего, это не так. Он был искренне возмущен польскими повстанцами,

¹ На это намекает Мицкевич в стихотворении «К русским друзьям».

о чем свидетельствует письмо Елизавете Хитрово от 9 декабря 1830 г. (разумеется, на французском языке): «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не останется, так как ничто не основано на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т. д.» (Пушкин, 1962а: 377). Если мы хотим понять реакцию Пушкина, то вспомним, как он однажды написал своему другу Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног —- но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство» (27 мая 1826 г.; Пушкин, 1962а: 233).

В связи с пушкинским стихотворением В. Ледницкий (Lednicki, 1954: 88) цитировал интересное суждение Александра Тургенева из письма к брату Николаю от 20 сентября 1832 г.: «<...> Твое заключение о Пушкине справедливо: в нем точно есть еще варварство, и Вяз[емский] очень гонял его в Москве за Польшу <...> Он только варвар в отношении к П[ольше]. Как поэт, думая, что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии не хочет выходить из своего варварства» (Тургенев, 1989).

Когда Пушкин опубликовал свое стихотворение, Первое философическое письмо Чаадаева еще не появилось в журнале «Телескоп», но всем его друзьям текст был уже известен. Французские и польские события очень сильно повлияли на взгляды Чаадаева, не только политические, но и историософские. Он был первым, кто посмотрел на Россию под новым углом зрения. Конечно, у страны не было прошлого, но именно по этой причине, утверждал Чаадаев, у нее может быть многообещающее будущее. Это похоже на чистый лист бумаги, готовый вместить все, что Бог пожелает на нем написать¹.

Но философия Чаадаева не могла стать выражением оптимистичного ожидания, и момент патриотической страсти или надежды вопреки всему долго не продлился². В 1854 г. — накануне Крымской войны — он написал статью, которая должна была быть опубликована французским католическим журналом «*L'Univers*» и в которой относительно сущности России звучали мысли, схожие с первым философическим письмом. Заключительный абзац таков: «Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком [же] государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он

¹ В отличие от Чаадаева, Пушкин никогда не принимал идею «чистого листа» и решительно утверждал историчность России (см. его письмо Чаадаеву от 19 октября 1836 года).

² Ледницкий не мог поверить, что Чаадаев был искренен, восхваляя пушкинское стихотворение, и подозревал его в дьявольской иронии. Интересно отметить, что адресат «Философических писем» Екатерина Панова была на стороне польских повстанцев: она признала, что молилась Господу послать победу полякам, потому что они боролись за свободу (Lednicki, 1954: 87).

Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а [и] в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути» (Чаадаев, 1991а: 569)¹.

После провала восстания Адам Мицкевич, который в одном из ключевых стихотворений своего друга Пушкина узнается за образом литовского витии, грозящего России анафемой, эмигрировал в Дрезден, а затем в Париж. Диалог между Пушкиным и Мицкевичем не был прерван трагическими событиями в Польше; на самом деле, «Медный всадник», в котором Пушкин пытался оправдать национальные и индивидуальные жертвы во имя величия страны, может рассматриваться как косвенный ответ на стихотворение Мицкевича «Памятник Петру Великому». А в 1834 г. Пушкин создал стихотворение «Он между нами жил...», посвященное Мицкевичу и полное сожаления о потере великого польского друга:

Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь) <...>.

Как у Чаадаева, у Мицкевича был собственный славянофильский период. Когда по приглашению Мишле и Куинета он читал в 1840–1844 гг. свои знаменитые лекции в Коллеж де Франс, то предсказал блестящее будущее славян (не только русских, конечно), как «народов Слова» (Славяне/Слово), чей час настал, чтобы заявить о себе в истории человечества.

Чаадаев и Мицкевич были знакомы: знаменитая картина Г. Г. Мясоедова «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне княгини З. А. Волконской» показывает импровизирующего польского барда и Чаадае-

¹ «En parlant de la Russie, on croit toujours parler d'une puissance comme une autre: mais ce n'est pas du tout cela. La Russie est tout un monde obéissant à la volonté, au caprice, à la fantaisie d'un seul homme, qu'il s'appelle Pierre ou Jean, n'importe, c'est toujours une incarnation de l'arbitraire. La Russie est un pays qui, contrairement à toutes les lois des sociétés humaines, n'avance que vers son propre asservissement et celui des peuples qui l'avoisinent. C'est donc autant dans son propre intérêt que dans celui des autres nations qu'il serait utile de lui faire prendre une voie nouvelle» (Опубликовано впервые: Rouleau, 1974: 409–413).

ва — одиночку, который никому не говорил «ты», на другом конце комнаты прислонившегося к колонне, скрестившего руки и пристально смотрящего на Мицкевича. В их кругу были Пушкин, Вяземский, Хомяков, Погодин и Шевырев. Однако поражает не то, что Чаадаев и Мицкевич, вероятно, встречались, а то, что некоторые из их суждений о России очень похожи как по содержанию, так и по тону. Обратившись к III части стихотворной драмы Мицкевича «Дядя», написанной в 1832 г., мы найдем следующие слова:

Чужая, глухая, нагая страна,
 Бела, как пустая страница, она.
 И божий ли перст начертает на ней
 Рассказ о деяниях добрых людей,
 Поведает правду о вере священной,
 О жертвах для общего блага, о том,
 Что свет и любовь управляют вселенной?
 Иль бога завистник и враг дерзновенный
 На этой странице напишет клинком,
 Что люди умнеют в цепях да в остроге,
 Что плети ведут их по верной дороге?
 Беснуется вихрь, и свистит в вышине,
 И воет поземкой, безлюдье тревожа.
 И не на чем взор задержать в белизне.
 Вот снежное море подымется с ложа,
 Взметнулось — и рушится вновь тяжело,
 Огромно, безжизненно, пусто, бело.
 Вот, с полюса вырвавшись вдруг, по равнине
 Стремит ураган свой безудержный бег
 И, злобный, бушует уже на Эвксине,
 Столбами крутя развороченный снег.

Сопоставим с высказываниями Чаадаева: «Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц» (Чаадаев, 1991а: 328).

Астольф де Кюстин опирался на тот же источник суждений и образов, чтобы написать работу «Россия в 1839 году», опубликованную в 1843 г. Джордж Кеннан, сравнивая Первое письмо Чаадаева с книгой Кюстина, отметил: «Такое сравнение предполагает, что сходство существует не столько в содержании,

сколько в тоне. Именно печальные ритмы Чаадаева, составляющие своего рода лирическое плач о России — ее несчастную историю, ее упущенные возможности, ее слабое развитие, бесполезность в жизни ее одаренных людей — наиболее убедительно свидетельствуют о негативном качестве последующей работы Кюстина» (Kennan, 1972: 40).

Хотя Александр Тургенев в Париже попросил Вяземского представить Чаадаева Кюстина, когда он был в Москве, мы не знаем наверняка, встречались ли они (но таинственный собеседник Кюстина, встретившийся в Английском клубе, мог быть Чаадаевым). В любом случае, Кюстин должен был слышать о скандале 1836 г. с «Телескопом» и наверняка читал Первое письмо (возможно, перед тем как отправиться в Россию). Невозможно не заметить «кюстиновское» влияние в следующих строках Первого письма Чаадаева:

«А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ни чему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения и из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь» (Чаадаев, 1991а: 329–330)¹.

¹ Мишель Кадо отметил, что такие представления о России уже распространялись до Чаадаева и Кюстина, и привел в качестве примера отрывок из «Charles-François Philibert Masson's Mémoires secrets sur la Russie sous les règnes de Catherine II et de Paul 1^{er}»: «Le Russe est un peuple nouveau sur lequel toutes les nations ont plus ou moins influé. Il a reçu de l'étranger des arts, des sciences, des vices et peu de vertus. Le génie du gouvernement et le caractère particulier de l'autocrate s'impriment sur toute la nation, comme sur un seul homme, et la religion grecque, la plus absurde de toutes les sectes chrétiennes, achève de la dénaturer. On peut dire du Russe que son gouvernement l'avilit, que sa religion le déprave et que sa prétendue civilisation l'a corrompu» (Cadot, 1967: 188; о Macco см.: Grève, 1990: 1258–1259).

И наоборот, довольно много страниц в книге Кюстина (в особенности письмо XXVIII) несет на себе сильный отпечаток взглядов Чаадаева (Cadot, 1967: 200–203).

В России книга Кюстина имела скандальный успех, столь же громкий, как и Первое письмо Чаадаева. Но Кюстин был не только источником информации о России, которую его либеральные русские друзья (Петр Козловский, Александр Тургенев и др.) предоставили ему для написания книги; в некотором смысле он также стал их представителем. Они помогли ему, но и он помог им. Они не готовы были разделить судьбу Чаадаева и получить прозвание сумасшедших; как подданные России, не могли публично сказать о России то, что он сказал. А он мог. И он сделал.

Кюстин предсказал, что люди выступят против его книги. Если он так хорошо угадал, то потому лишь, что руководствовался — до, во время и после путешествия — советами тех, кто рассказал ему, как возможно прочитать российские реалии. Интересно отметить, что книга Кюстина — не столько рассказ о путешествиях (как, например, «Путешествие Александра Дюма по России»), а, скорее, серия разговоров о России в России — как продолжения разговоров о России в Париже. Как будто это тот же самый разговор. В 1843 г. Федор Тютчев признался немецкому другу Варнхагену фон Энсе: «Книга произвела огромное впечатление в России; вся наша знать более или менее согласна с ее суждениями; почти никто не возмущен. Хвалят стиль. Даже генерал Бенкендорф откровенно сказал императору: де Кюстин сформулировал только те идеи о нас, которыми давно поделились все, в том числе и мы!» (Cadot, 1967: 210).

Кюстин наверняка также знал о Мицкевиче, так как в Париже был очень близок к польской эмигрантской среде; он, вероятно, посетил несколько публичных лекций в Коллеж де Франс по славянской литературе, и довольно много отрывков из «России» говорят о внимательном прочтении Мицкевича (Kennan, 1972: 28)¹.

Кто на кого повлиял? Кто у кого заимствовал идеи? Кто кого читал? Я уверен, что остается огромный пласт работы для исследователей. Но очень важно не забывать, что в процессе анализа, кто на кого повлиял (де Местр², Пушкин, Кюстин, Мицкевич, Чаадаев, А. Тургенев, Грибоедов или др.), кто у кого за-

¹ Первый французский перевод произведений Мицкевича появился в Париже в 1841 г., когда Кюстин писал свою книгу. Джордж Кеннан отмечает: «Сходство обнаруживается не столько в отдельных отрывках, хотя есть один или два поразительных примера такого рода, но скорее в духе двух произведений и в частой идентичности темы» (Kennan, 1972: 28).

² Я не упомянул Жозефа де Местра, в работах которого «Soirées de Saint-Petersbourg» или «Quatre chapitres inédits sur la Russie» мы найдем уже упомянутых и исследованных в данной статье героев, но анализ потребовал бы отдельного исследования. Де Местр наверняка знал Чаадаева и Мицкевича, с которыми встречался, по крайней мере, в масонских кругах. И Кюстин, очевидно, прочитал «Soirées...».

имствовал идеи, кто кому открыл глаза, стоит также отдавать себе отчет, что все эти люди были довольно хорошо знакомы, они встречались, обсуждали и спорили в один этот же исторический период. Проще говоря, дело не в том, что кто-то выдвинул идею и она должна с определенностью считаться принадлежащей ему. Требуется много внимания и умения, чтобы получить правильное ощущение происходившего и найти соответствующие разделительные линии в прошлом. Только так можно избежать самого страшного, смертельного греха историка — интеллектуального анахронизма. Не следует также забывать, что в отношении истории и будущей роли России произведения Чаадаева, Пушкина, Кюстина и Мицкевича основаны на общем мнении, подпитываемом прямо или косвенно продолжающимся диалогом (довольно часто на французском языке) и образами России: все они передавались, развивались и обогащались в письменной форме, а также в салонах таких дам, как княгиня Волконская или графиня Ростопчина в Москве или мадам де Циркур (урожденная Анастасия Хлюстина)¹, княгиня Чарторыйская и мадам Светин в Париже.

Литература

- Гончаренко А. В. (2016). Языковая ситуация в Древней Руси: двуязычие или диглоссия? (Взгляды лингвистов на проблему) // Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. № 1 (56). С. 47–52.
- Пушкин А. С. (2006). Письма. В 3-х т. М.: Захаров.
- Пушкин А. С. (1962а). Письмо к П. А. Вяземскому. 1825. 13 июля // Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 9. Письма 1815–1830. М.: ГИХЛ. С. 166–167.
- Пушкин А. С. (1962б). Письмо к П. Я. Чаадаеву. 1831. 6 июля // Там же. С. 47–49.
- Тургенев А. И. (1989). Политическая проза. М.: Советская Россия. URL: http://az.lib.ru/t/turgenev_a_i/text_1844_iz_pisem.shtml, дата обращения 7.11.2019.
- Успенский Б. А. (1983). Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М.: Изд-во МГУ, 1983.
- Чаадаев П. Я. (1991). Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2-х т. М.: Наука.

¹ Анастасия Семеновна Циркур (Сиркур), урожд. Хлюстина, жена графа Адольфа де Циркура (1801–1879) — оба супруга были французскими литераторами — была возлюбленной Мицкевича и личным другом и почитательницей Чаадаева (см. Cadot, 1967: 77).

SOME REFLECTIONS UPON RUSSIAN LITERARY PROSE AND THE CHAADAYEV/PUSHKIN/CUSTINE/MICKIEWICZ NODE

Bernard Marchadier

A member of the English-language educational program at the Sorbonne, programs in Russian at INALCO. Translator at the UN and UNESCO.

Translator into French of the correspondence of Ivan the Terrible with Andrei Kurbsky, works of S. N. Bulgakov, S. L. Frank, Vl. S. Solovyov. Chairman of the Society of Vladimir Solovyov in Paris.

Email: b2marchadier@gmail.com

The article considers, firstly, the linguistic aspects of the letters of P. Ya. Chaadaev, and secondly, the political and philosophical motives of his writings. Chaadaev can be considered the first philosopher in Russia, but at the same time he wrote his works in French. This fact is very important, and the article discusses the conditions under which this situation turned out to be possible. The author came to the conclusion that Chaadaev's "Philosophical Letters" were written in French because they are philosophical works, because they are letters and because they are addressed to a woman. Chaadaev's style corresponds to the French literary samples of those days.

Keywords: P. Ya. Chaadaev, philosophy, politics, political science, A. de Custine, "Philosophical letters", literary style.

References

- Chaadaev P.* (1991). *Polnoe sobranie sochinenij i izbrannye pis'ma* [Collected Works and Letters], 2 Vols, Moscow: Nauka (in Russian).
- Goncharenko A.* (2016). *Yazykovaya situaciya v Drevnej Rusi: dvuyazychie ili diglossiya? (Vzglyady lingvistov na problem)* [Lingual Situation of the Old Russia: Bilingualism or the Diglossia? (Authoriyies Viewpoint on the Problem)]. *Russkaya filologiya: Vestnik Har'kovskogo nacional'nogo pedagogicheskogo universiteta imeni G. S. Skovorody* [Russkaâ filologiâ], no 1 (56), pp. 47–52 (in Russian).
- Pushkin A.* (1962a). *Pis'mo k P. A. Vjazemskomu. 1825. 13 ijulja* [Letter to P. A. Vyazemsky. 1825. July 13], *Pushkin A. Cobranie sochinenij v desjati tomah* [Collected Works, 10 Vols], Vol. 9, Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, pp. 166–167 (in Russian).
- Pushkin A.* (1962b). *Pis'mo k P. Ja. Chaadaevu. 1831. 6 ijulja* [Letter to P. Ya. Chaadaev. 1831. July 6], *Ibid.*, Vol. 10, pp. 47–49.
- Turgenev A.* (1989). *Politicheskaya proza* [Political prose], Available at: http://az.lib.ru/t/turgenev_a_i/text_1844_iz_pisem.shtml (accessed 7 november 2019) (in Russian).

- Uspenskij B.* (1983). *Yazykovaya situaciya Kievskoj Rusi i ee znachenie dlya istorii russkogo literaturnogo yazyka* [The language situation of Kievan Rus and its significance for the history of the Russian literary language], Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta.
- Breillard J.* (2012). *Derrière l'histoire — la langue*, Paris: Institut d'études slaves.
- Cadot M.* (1967). *La Russie dans la vie intellectuelle française 1839–1856*, Paris: Fayard.
- Custine Astolphe de* (1990). *La Russie en 1839*, Paris: Solin.
- Fumaroli M.* (2003). *Quand l'Europe parlait français*, Paris, Editions de Fallois.
- Grève C. de* (1990). *Le Voyage en Russie*, Paris: Robert Laffont.
- Kennan G.* (1972). *The Marquis de Custine and his "Russia in 1839"*, London: Hutchinson.
- Lednicki W.* (1954). *Russia, Poland and the West*, London: Hutchinson.
- Mickiewicz A.* (1990). *Dziady*, Warsaw: Swiat ksiazki.
- Rouleau F.* (1974). *La lettre de Tchaadaiev à L'Univers*, Cahiers du monde russe et soviétique, Paris, Vol. 15, no. 3–4.
- Walicki A.* (2002). *Rosja, katolicyzm i sprawa polska*, Warsaw: Prosinski i S-ka.